

“Пушкинская речь” — одно из самых известных произведений писателя. Но прочитана ли она с должной глубиной и ответственностью?

Ни одно из творений Достоевского не вызывало таких восторгов. Современники рисуют картину всеобщей экзальтации. Мемуарист Д. Н. Любимов вспоминал: “Зала точно замерла... Вдруг из задних рядов раздался истерический крик: “Вы разгадали!” (значение Пушкина. — А. К.). Вся зала встрепенулась. Послышались крики “Разгадали! Разгадали!”, гром рукоплесканий, какой-то гул, топот, какие-то женские визги”.

Не менее красочно описывает событие сам Фёдор Михайлович: “...Зала была как в истерике, когда я закончил, я не скажу тебе про рёв, про вопль восторга. Люди незнакомые между публикой плакали, рыдали, обнимали друг друга: “Вы наш святой, вы наш пророк!” “Пророк, пророк!” — кричали в толпе... Я бросился спастись (так! — А. К.) за кулисы, но туда вломилась из залы все, а главное женщины. Целовали мне руки... Прибежали студенты. Один из них, в слезах, упал передо мной в истерике на пол и лишился чувств”.

Реакция необычная, согласитесь. Тот же Д. Н. Любимов пишет: “Думаю, никогда стены московского Дворянского собрания ни до, ни после не оглашались такой бурей восторга”.

В чём причина неслыханного успеха? Из множества факторов (мастерское чтение Достоевского — его отмечали многие, патетический стиль самого текста и т. д.) я бы выделил два. Объективный и субъективный.

Сначала об объективном. Обращу внимание на время произнесения речи — 1880 год. Период для истории русской литературы рубежный. Тремя годами ранее умер Н. Некрасов. Спустя год после пушкинских торжеств не станет самого Достоевского. В 1883 году умрёт И. Тургенев. В 1879-м Л. Толстой вчерне заканчивает “Исповедь”, где по существу отказывается от своих художественных произведений.

Завершался Золотой век русской литературы. Эпоха, в начале своём давшая А. Пушкина, Н. Гоголя, М. Лермонтова, Ф. Тютчева, а в полноте сил — Л. Толстого, И. Тургеневу, Ф. Достоевскому. То было вершинное проявление национального духа, выше которого Россия ничего не дала.

Публика инстинктивно чувствовала значимость заканчивавшегося периода. Вопрос заключался в том, кто подведёт итог. Кто включит этот период в историю самых славных эпох всемирной литературы.

Это сделал Ф. М. Достоевский в “Пушкинской речи”: “...Мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь

мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание”.

Обращаясь к творчеству Пушкина, Фёдор Михайлович не только уравнивал отечественную словесность с ведущими мировыми литературами, но и поставил, пусть в одном пункте, выше них: “В самом деле, в европейских литературах были громадной величины художественные гении – Шекспир, Сервантесы, Шиллеры. Но укажите хоть на одного из этих великих гениев, который бы обладал такую способностью всемирной отзывчивости, как наш Пушкин”.

Вроде бы преимущество не всеобъемлющее, но и самому Достоевскому, и его аудитории было ясно: оно ключевое: “Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное... Стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и всеобъединяющей, вместить в неё с братскою любовью всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой общей гармонии”.

“Изречь окончательное слово” европейской и мировой истории – было от чего восторженно взрывать не избалованной похвалами отечественной публике!

Не забудем и о факторе субъективном.

Первоначально открытие памятника Пушкину было намечено на 26 мая по старому стилю – день рождения поэта. В двадцатых числах литераторы, представители различных обществ и учреждений начали съезжаться в Москву. Но 22 мая умерла жена Александра II императрица Мария Александровна. На следующий день газеты опубликовали извещение: открытие памятника в связи с трауром откладывается. Называют новую дату – 4 июня, затем 6 июня.

А публика съехалась! Более двух недель десятки знаменитостей и сотни восторженных ротозеев колобродят по Москве. Устраивают торжественные обеды (25 мая в ресторане гостиницы “Эрмитаж” чествовали Достоевского). Участвуют в литературно-музыкальных вечерах (6 июня на одном из таких вечеров Достоевский прочёл монолог Пимена из “Бориса Годунова”). Общественная жизнь кипит, и с каждым днём вынужденного ожидания градус повышается!

Чтобы понять причины такой взвинченности, надо учесть, что общественной жизни в общероссийском масштабе тогда не существовало. Власть строго следила за тем, чтобы начавшееся после реформ Александра II оживление в обществе замыкалось на местном уровне. Пушкинские торжества давали легальный повод придать этой активности всероссийский масштаб. “Прогрессивная” Россия ждала судьбоносного, пророческого слова. И с каждым днём промедления всё истовее, всё иступлённей.

Вот в какой атмосфере прозвучала “Пушкинская речь”. Вот почему дамы в зале Дворянского собрания кричали: “Вы наш святой, вы наш пророк!” – а впечатлительные юноши падали в обморок. Не удивительно и то, что именно речь Достоевского дала выход эмоциям. То была его сцена, его роль.

Корреспондент “Вестника Европы” заметил: “...Сказанная в известном стиле талантливого писателя, она (речь. – А. К.) подействовала – без сомнения, в значительной степени потому, что сказана была перед аудиторией, уже подготовленной к крайнему увлечению: несколько дней, проведённых в непрерывающемся ряду сильных впечатлений, сообщили этой аудитории почти нервическое возбуждение, – по степени этого возбуждения ей требовалось всё больше увлекающих и обольстительных слов. Их предложил г-н Достоевский”.

Показательно, что уже на следующий день восторги поутихли, а спустя ещё несколько дней начали появляться критические отзывы, причём не только в либеральной, но и почвеннической печати.

Попробуем и мы взглянуть на “Пушкинскую речь” без эмоций.

Огромное значение речи, подводившей итог Золотого века русской литературы, несомненно. Однако столь же несомненны, на мой взгляд, просчёты и натяжки в тексте. Думаю, излишне объяснять, что это не “ученические промахи”, а результат страстной увлечённости великого писателя, искажавшего историю русской литературы и национальную историю ради своих излюбленных идей.

Произвольным был изначальный посыл – сведение всей духовной сферы к литературе. Понятно, что литература выражает культурную жизнь народа на-

более отчётливо. Но разве менее значимы в духовном плане музыка, живопись, архитектура, громадный пласт народного творчества? Фёдор Михайлович не подкрепил свои рассуждения обращением к народным песням, былинам, что придало бы его тезису о “всечеловечности” русских большую убедительность. Или же опровергло бы его. . .

Неверно сводить литературу к творчеству одного, пусть и великого писателя. Критики упрекали Достоевского в том, что он обошёл вниманием такую пушкинского современника, как Гоголь. По их словам, Гоголь – “великая оборотная сторона Пушкина” (А. Градовский). Действительно, друг и единомышленник поэта резко договаривает многое из того, о чём в силу особенностей своего солнечного дарования не говорил Пушкин.

Гоголь, – утверждает А. Градовский, – вывел череду устрашающих персонажей: Собакевичей, Ноздрёвых, Коробочек. От них-то и бежали “скитальцы”, подобные Онегину. (Кстати, описание гостей на именинах Татьяны во многом подтверждает догадку А. Градовского.)

Но вот герои без страха и упрёка. “Тарас Бульба” – вдохновенная попытка создать подлинный эпос, где народ высказывается о себе и своём видении мира. Тем характернее его мнение об инородцах: “чёртов лях”, “поганый татарин”, “турецкие собаки”, “проклятые жида”. Не очень-то это согласуется с ролью “брата всех людей”, которую приписывает русскому человеку Достоевский.

Да и в реальной жизни в суждениях о соседях – ближних и дальних – русские не стеснялись себя политкорректностью. Достаточно вспомнить народные поговорки (цитирую работу: Шевченко И. Ю., Зубков М. Н. “Этностереотипные образы иностранцев в русских поговорках”. [www.rae.ru/forum](http://www.rae.ru/forum) 2012/274/1619): “злее злого татарина”, “хохол глупее вороны, а хитрее чёрта”, “у французца ножки тоненьки, душа коротенька”, “грек скажет правду однажды в год”.

Конечно, можно указать на историческую обусловленность тех или иных характеристик, вспомнить об ужасах войн и взаимного насилия. Русские не более пристрастны к иноземцам, чем те к нам. Однако идеализировать нас, представляя образцом “всемирной отзывчивости”, нет оснований.

Между прочим, у самого Достоевского в “Дневнике писателя” немало обеснанных слов о “полячишках” и других европейцах. Но он как бы забывает об этом, глядя на “всечеловечность” русских через призму пушкинского творчества.

Неправомерно сводить произведения писателя к образам отдельных героев. Всё-таки три персонажа, пускай выразительных, ярких – Алеко, Онегин, Татьяна, – далеко не исчерпывают ошеломляющего богатства пушкинских характеров. И уж если говорить о народности, уместнее было бы обратиться к героям “Капитанской дочки”: Петру Гринёву, Савельичу, семейству капитана Миронова, Пугачёву и его сподвижникам – вплоть до казака, посланного самозванцем “пожаловать” Гринёва полтиной, да “растерявшего” деньги по дороге.

Не стоило пренебрегать и сравнительно-историческим анализом. “Скитальцы” (Алеко, Онегин), которых Достоевский рассматривает, с одной стороны, как порождение петровских реформ, разделивших народ и элиту, а с другой – как воплощение стремления русских к “всечеловечности” (критики, в частности, Г. Успенский, указывали на противоположность этих двух тезисов) – типичные романтические герои. Романтизм, как известно, возник на германской почве: братья Шлегели, Ф. Шиллер, А. Шамиссо, Ф. Гёльдерлин, Г. Клейст, чрезвычайно популярный в России Э. Т. А. Гофман. Позднее романтизм стал знаменем английской литературы. Она-то и дала классический тип скитальца – байроновского Чайльд-Гарольда.

Отечественные авторы, в том числе Пушкин, шли вслед за европейцами. Последней, Восьмой, главе “Евгения Онегина” предпослан эпиграф из Байрона. Лермонтов вынужден был специально подчёркивать своё отличие от мятежного британца: “Нет, я не Байрон, я другой. . .”

Русские романтики не были создателями образа скитальца. Рассматривать его как исключительно отечественный и строить на этом основании теорию о “всемирных” устремлениях русского народа ошибочно.

Всё это просчёты существенные, но до известной степени простительные. Куда более значим отказ автора “Пушкинской речи” от социальной конкретики, придающий его рассуждениям абстрактный характер. Достоевский

сводит понятие народа к крестьянству, что само по себе спорно. Но даже приняв концепцию писателя, нельзя не пожалеть об отсутствии ссылки на работы, посвящённые жизни и нуждам пореформенного крестьянства.

Такие работы во второй половине XIX века появились: “Голос из земства” (М., 1869) славянофила Александра Кошелева, знаменитые “Письма из деревни” Александра Энгельгардта, публиковавшиеся в 1872–1887 годах, циклы Глеба Успенского “Из деревенского дневника” (1877–1880) и “Власть земли” (1882). Примечательно, что Глеб Успенский оказался в числе наиболее резких критиков “Пушкинской речи”. В статье, опубликованной в “Отечественных записках”, он провозглашал: “... Не следует ли... заняться с возможной внимательностью изучением самой нивы (в данном случае – синоним деревни. – А. К.) и положением, в котором она находится, так как, очевидно, только это изучение определит и “дело”, в котором она нуждается, и способы, которые могут помочь это сделать”.

Противопоставляя народ и космополитических “скитальцев”, Достоевский рассматривает крестьянство как единый монолит. Но во второй половине XIX века шло активное социальное расслоение деревни. Ни о каком монолите, от лица которого писатель изобличал элиту и провозглашал “всемирность” русского народного характера, не могло быть и речи!

Крестьянин отчаянно нуждался в земле. Во второй половине столетия величина среднего надела из-за роста населения сократилась в два раза, тогда как урожайность выросла в 1,3 раза (infopedia.su. Пореформенная Российская империя (1861–1917). Крестьянам элементарно не хватало хлеба. Осенью 1879 года начался голод, вскоре принявший характер национального бедствия. Сельчане питались “наполовину лебедой, мякиной, отрубями” (newrefs.ru. Пореформенное помещичье хозяйство). А Достоевский манил их “единением всечеловеческим”!

Конечно, в восьмидесятые годы XIX века такие науки, как социология, социальная психология, этнология, чьи данные могут учитывать современные авторы, находились в зачаточном состоянии, хотя статистика уже тогда давала точные сведения о реальном положении в стране и на местах.

Но сердце... Разве сердце не заменяет художнику мудрость трактатов? Не обладая полной информацией, Достоевский должен был больше внимания уделить конкретике, а не возноситься в область абстракций. Однако на этот раз писатель предпочёл роль пророка. А пророк, понятное дело, в цифрах и прочих “приземлённых” данных науки не нуждается.

Первой и главной жертвой этой позиции стала логика. Из скитальчества героев Пушкина никак не вывести их тягу к “всемирности”. Уход Алеко к цыганам – бегство от цивилизации, а не порыв в цивилизованную Европу. В “Онегине” по “европейским землям” путешествует не главный герой, а Ленский, которого Онегин убивает. “Почём знать, может быть, из хандры по мировому идеалу!” – восклицает Фёдор Михайлович. Воля ваша, но в этом залихватском “почём знать” слышится интонация Хлестакова, не достойная великого писателя.

Но и поверив Достоевскому на слово, приняв его толкование образов Алеко и Онегина, невозможно отождествить их духовный настрой с народным. Тем более, что сам Достоевский упрекает их в отрыве от народа.

Между тем автор “Пушкинской речи” постулирует: “... Что такое сила духа русской народности (разрядка моя. – А. К.), как не стремление её в конечных целях своих к всемирности и всечеловечности!” Показательно, что это утверждение вызвало возражение Александра Кошелева, который, в отличие от Фёдора Михайловича, полжизни прожил бок о бок с простонародьем. Причиной основной посыл речи: Пушкин – народный поэт, – Кошелев оговаривает: “Не могу... согласиться со следующим мнением г-на Достоевского: “Что такое сила духа русской народности, как не стремление её в конечных целях своих к всемирности и к всечеловечности”. Думаем, что это стремление... во все не составляет отличительной черты характера русского народа”.

Действительно, с чего бы? Русский крестьянин в массе своей выдвигал иностранцев разве что в Петербурге и о пресловутой “всемирности” слыхом не слыхивал.

К слову, история крестьянских бунтов, когда народный характер проявлялся без всяких ограничений, не подтверждает тезиса “Пушкинской речи” о стремлении русского человека “стать братом всех людей”. Погромы Немец-

кой свободы в XVII веке, расправы с немцами-лекарями во время холерных бунтов в XVIII-м и в первой половине XIX века показывают, что простонародье видело в чужестранцах угрозу своим традициям, вере и даже жизни (считалось, что чужеземцы отравляют колодцы, распространяя заразу). И хотя в отношении медиков такое мнение было ошибочным, столетия натиска Европы на Восток давали достаточно оснований для народной подозрительности.

Наконец, предельно алогичный тезис речи о “служении” Европе: “... Что делала Россия во все два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо больше, чем себе самой?”

Сомневаюсь, что это соответствовало интересам русского крестьянства. Не народный дух, а скудоумие петербургской элиты, направляемой такими ненавистниками России, как Карл Нессельроде, стало причиной позорного “служения”! За которое Европа “отблагодарила” войной 1812 года, Крымской и Первой мировой.

Не достаточно ли, чтобы разочароваться во “всемирности”?

Меж тем, тезис о всемирном служении России чрезвычайно соблазнительен. Недаром В. Соловьёв положил его в основу знаменитой “Русской идеи”.

Ошибочные тезисы порождали и ложные цели. Достоевский видел назначение русского народа в том, чтобы “внести примирение в европейские противоречия”. Но, во-первых, европейцы нас об этом не просили. Жизненный опыт показывает, как опасно навязываться с непрошеными благодеяниями. Во-вторых, в XIX веке, когда европейские страны десятилетиями враждовали из-за клочка земли (Эльзас в борьбе Франции и Германии – иллюстрация классическая), такое “примирение” было невозможным. Оно состоялось в XX столетии после двух мировых войн. Европу объединила не нравственная проповедь, а материальная выгода общего рынка.

А если уж говорить о мировоззрении, то “единение” Европы во многом основано на антироссийской платформе.

Параллельно с укреплением Евросоюза происходило крушение Союза Советского – второе в XX веке раздробление России. Оба раза – по линии внутренних национальных границ, что силой реального примера опровергает тезис о “всечеловеческом воссоединении” и роли русского народа в этом процессе.

Возможно, не стоило бы напомиать об ошибке Достоевского, если бы не великий соблазн, который для русского сердца кроется в словах о нашем всемирном предназначении.

Тридцать шесть лет спустя после “Пушкинской речи” архиепископ Антоний Храповицкий – другой выдающийся представитель отечественной мысли, член Государственного совета, один из основателей Союза русского народа – писал о Первой мировой: “... На настоящую войну наш народ взирает, как на освобождение христианства от ига еретиков и магометан, а настоящую цель её видит в освобождении священного Царьграда с церковью Св. Софии” (Архиепископ Антоний (Храповицкий). Чей должен быть Константинополь? Таганрог, 1916).

Чудовищное заблуждение – империалистическую войну за передел мира представлять в образе крестовых походов Средневековья! И это писал владыка, окормлявший западноукраинские приходы, где магометан не видели со времён Румянцева и Екатерины. На его земле разворачивалась кровавая битва, стоившая России миллионов жизней, не с мифическими “агарянами”, а с прусской военной машиной, ни в какого бога, кроме крупповской стали и крупповских пушек, не верящей.

Каким же “всесокрушающим” был разрыв с реальностью в сознании этого выдающегося пастыря и политика! После революции владыка Антоний сетовал на недостаточную стойкость русских солдат, так и не освободивших Царьград, а ведь “уже был заготовлен крест на купол Святой Софии”! Роковая русская “всемирность”: потеряли страну, а он – о кресте над Босфором!

К слову, Антоний ссылаясь в числе прочих и на Фёдора Михайловича – на статью в “Дневнике писателя” о Восточном вопросе. “... Этот страшный Восточный вопрос, – читаем у Достоевского, – это чуть ли не вся судьба наша в будущем. В нём заключаются как бы все наши задачи и, главное, единственный выход наш в полноту истории. В нём и окончательное столкновение наше с Европой, и окончательное единение с нею”.

Отчего, по мнению Достоевского, все национальные задачи России заключаются в движении на черноморский Восток? В XIX веке, как и в следую-

шем столетии, основные угрозы приходили к нам с Запада. А укреплялась страна силой Сибири, движением к Тихому океану. Как же можно столь упоённо игнорировать историческую конкретику?

Каким образом “окончательное столкновение” с Европой из-за Константинополя должно было обернуться “окончательным единением” с нею? Возможно ли оно? Да и нужно ли?

Столкновение с Европой действительно произошло. Причём в те годы, когда Россия и ведущие европейские державы Англия и Франция были союзниками. Как выяснилось теперь, Лондон и Париж втайне способствовали русской революции, чтобы не выполнять свои обещания отдать проливы под контроль России. Говоря о столкновении, Достоевский оказался прав, но где же обещанное “окончательное единение” с Европой?

Нет, я не собираюсь упрекать Фёдора Михайловича в чрезмерном обольщении Европой. Мне отвратительно распространившееся нынче кликушество, когда неопиты патриотизма и Православия дерзают бесчестить выдающихся писателей и мыслителей. Достоевский – один из глубочайших критиков и даже обличителей современной ему Европы.

В том же августовском выпуске “Дневника писателя”, где помещена “Пушкинская речь”, отвечая на критику А. Градовского, Достоевский пишет: “Да она накануне падения, ваша Европа, повсеместного, общего и ужасного. Муравейник, давно уже создававшийся в ней без Церкви и без Христа... с расшатанным до основания нравственным началом, утратившим всё, всё общее и всё абсолютное, – этот создававшийся муравейник, говорю я, весь подкопан”.

Я веду речь об увлечении фразой, о том нервическом напряжении мысли, свойственном русским вообще и Достоевскому в особенности. Приведённая инвектива в адрес Европы столь же опрометчива, как и мечта о “конечном единении” с нею. Прошло без малого полтора века, а “подкопанный муравейник” стоит.

Не разумнее ли нам заниматься своими проблемами, своими нуждами, самими собой, не воспаяясь по поводу Европы (в нынешнем варианте – Запада; или Востока, в котором многие пытаются разглядеть нашего спасителя). Прислушаемся, наконец, к замечательному высказыванию Николая Данилевского (“Россия и Европа”): “...Невозможно и вредно устранить себя из европейских дел, но весьма возможно, полезно и даже необходимо смотреть на эти дела всегда и постоянно с нашей особой, русской точки зрения, применяя к ним как единственный критерий оценки: какое отношение может иметь то или другое событие к нашим особенным русско-славянским целям, какое могут они оказать препятствие или содействие им. К безразличным в этом отношении... событиям должны мы оставаться совершенно равнодушными, как будто бы они... происходили на Луне; тем, которые могут приблизить нас к нашей цели, должно всемерно содействовать – и всемерно противиться тем, которые могут служить ей препятствием, не обращая при этом ни малейшего внимания на их безотнositельное значение; на то, каковы будут их последствия для самой Европы, для человечества...”

К сожалению, призыв великого мыслителя до сих пор не услышан. Русское сердце и русская мысль всё так же пленяются красотой фразы, масштабом рассуждений и обещаний. Зная за нами такой грех (а это грех, прежде всего, перед своим народом, который элиты сплошь и рядом заставляют служить утопиям), нужно с особой тщательностью следить за “полётом мысли” – собственной и чужой. Сдерживать фантазию. Обуздывать красноречие. И, разумеется, опираться на факты. Ибо только опора на факты, любовь к конкретике – исторической, социальной, политической – позволяет выстроить концепцию, способную выдержать проверку жизнью.